

Женские судьбы.
Уютная проза
Марии Метлицкой

Мария Метлицкая



Машино счастье

рассказы



Москва
2022

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
М54

Художественное оформление серии *П. Петрова*

Метлицкая, Мария.

М54 Машкино счастье : рассказы / Мария
Метлицкая. — Москва : Эксмо, 2022. — 320 с.

ISBN 978-5-04-094154-4

Почему одни счастливы, а другие несчастны?

И вообще — что такое счастье? Кто-то довольствуется малым — и счастлив.

Кто-то стремится к недостижимому и всегда несчастен.

Среди героев этой книги есть и те, и другие.

Наверное, дело в том, что счастливые вовремя осознали: жизнь — не борьба, а награда.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-094154-4 © Метлицкая М., 2018
© ООО «Издательство «Эксмо», 2022



Жить, чтобы жить

Катя прибилась к нашей семье в далеких шестидесятых, когда наша бабушка была еще вполне в силе, родители были молоды и здоровы и снимали большую, старую и уютную дачу в Ильинском. На даче, конечно же, настояла бабушка. Допустить, чтобы все пыльное московское лето девочки провели в городе, она не могла. Все бытовые невзгоды бабушка сносила, впрочем, как и все остальное, мужественно. Ради одного святого дела — девочки должны быть на свежем воздухе.

В те годы, правда, с большим трудом, но все же можно было найти молочницу — коров тогда еще держали и в ближнем Подмосковье. Все лето мы с сестрой пили теплое парное (брр-р!) молоко и ели свежие, только из-под курицы яйца. Бабушка четко следовала программе: главное — здоровье детей, восстановить его всеми силами, невзирая на равнодушные молодых и бестолковых родителей и воз-

ражения собственно детей. В детстве мы с сестрой были еще очень дружны — да что за разница в один год! Это потом у нас появились разные интересы и разные взгляды на жизнь. А в те годы у нас еще были общие куклы, маленькие алюминиевые мисочки и кастрюльки, в которых мы с упоением варили щи из подорожника и компот из рябины. Среди кукол у нас тоже были свои фаворитки. Я, например, больше любила кудрявую и розовую «немку», блондинку Зосю, а сестра выбрала брюнетку Элеонору, умевшую пищать невнятное «мама», если ее сильно опрокинуть назад. На даче, конечно, был абсолютный рай: целыми днями мы играли в старом, почти заброшенном саду, и бабушка нас звала только на обед, после которого следовал обеденный отдых, с обязательной книжкой, потом компот с печеньем — и мы опять на свободе. Теперь уже до самого ужина.

Хозяйка дачи приезжала только раз в месяц — за деньгами. Родители появлялись в пятницу вечером, после работы. В общем, всю неделю — свобода. Хотя за калитку нас не выпускали, мало ли что? Но когда игры и кукольные обеды нам смертельно надоедали, мы висели на шатком заборе и приставали к прохожим. Тогда мы и познакомились с Катей.

Сначала мы увидели, как маленькая девочка с трудом тащит большой оранжевый, в белый горох, бидон, и, конечно, поинтересовались его содержимым. Девочка остановилась, поставила бидон на землю, тяжело вздохнула и объяснила нам, что в бидоне подсолнечное масло. Еще она сказала, что зовут ее Катей и что живет она в поселке постоянно, круглый год, с бабушкой. А родителей ее «черти носят по свету». Мы слушали все это открыв рты. Особенно про «черти носят». И пригласили Катю в гости. Она кивнула и деловито сказала, что сейчас отнесет бидон, а то «заругается бабка». И еще ей надо покормить кур и подмести избу, а уж потом, после всех этих важных дел, она может и зайти к нам. Такое количество дел и важный и обстоятельный Катин тон вызвали у нас, у праздных бездельниц, безграничное уважение. Мы слезли с забора и с жаром принялись обсуждать нашу новую знакомую. Во-первых, бабушку она называет бабкой. Мы сделали выводы. Старуха эта наверняка очень злобная. Да и к тому же как она эксплуатирует бедную сироту! Во-вторых, мы отчаянно позавидовали Катиной свободе. Нас на станцию одних не пускали. А сколько там было всего интересного... Крошечный рынок под ветхим навесом, где бабульки в платочках

продавали мелкую морковку с зелеными хвостиками, большие, мятые соленые огурцы и семечки в кульках. А страшного вида мужики раскладывали на газете кучками мелкую серебристую рыбешку — плотву и карасей. Кучка — рубль. Бабушка покупала эту «мелочь» и жарила рыбку к приезду родителей. Отец ее обожал и называл «сухарики». К тому же на станции был длинный стеклянный магазин с названием «Товары повседневного спроса». Спрос тех времен был невелик, но даже эти скудные и убогие прилавки казались нам с сестрой сказочным царством — безвкусные заколки, расчесочки, убогие пуговицы, капроновые и атласные ленты, грубые толстые чашки, нелепые пластмассовые игрушки, пыльные ковровые дорожки, аляповатые кастрюли, блеклые торшеры на тонких ногах. И мы обязательно каючили и что-то выпрашивали у бабушки — заколку, которая ломалась через полчаса, или резиновый мячик, который умудрялись потерять в тот же день. Еще на станции стояла круглая, с облупившейся на боках желтой краской бочка с квасом и рядом тележка с мороженым. Мы выклянчивали у бабушки эскимо на палочке в серебристой обертке и, конечно, выпивали по большой граненой стеклянной кружке кваса. От кваса наши детские

животы раздувались, как воздушные шары, и мы были счастливы. Но бабушка ходила на станцию редко, ворча, что это мы бездельницы, а у нее и так дел невпроворот.

Катя пришла к нам в тот же день, как и обещала, спустя пару часов. Маленькая, крепкая, на плотных не по-детски ногах, с серыми, мышиными волосиками в хвост и редкой челкой. В блеклом, застиранном ситцевом платице и потертых босоножках на босу ногу. Бабушка пристально оглядела Катю и, тяжело вздохнув — было время обеда, — позвала ее за стол.

Катя не отказалась, «спасибо» не сказала, а только с достоинством кивнула и удобно уселась на табуретку, жадно пожирая глазами стол. На столе стоял обычный для нас обед: винегрет, тертая морковь с яблоками, холодный борщ и котлеты с картошкой.

— Праздник у вас? День рождения? — спросила Катя.

Мы удивились и переглянулись.

— Почему праздник?

— На буднях так питаетесь? — теперь удивилась Катя.

Мы недоуменно переглянулись, а бабушка опять тяжело вздохнула.

После киселя с печеньем мы пошли в сад, где отец построил нам маленький шалаш из

досок и веток. Там у нас стояли стол с низкой скамеечкой, детская игрушечная плита и две кукольные кровати. Катя вытащила из кроватей Зосю и Элеонору, долго трогала их блестящие синтетические волосы, поднимала им платья, с удивлением разглядывала кружевные кукольные трусики и резиновые туфельки с носочками. Мы начали играть. Катя со всем соглашалась, подчинялась нам и выполняла все поручения, которые строгим голосом диктовала ей моя старшая сестра. А потом бабушка позвала нас читать.

Читали мы сначала по очереди вслух, а потом еще час — про себя.

— Я вас в саду подожду, — предложила Катя, не выпуская кукол из рук. Она, видимо, представила, как она будет два часа полноправной хозяйкой в шалаше в наше отсутствие.

Но бабушка сказала строго:

— Иди, Катя, домой.

— Завтра придешь? — с надеждой спросила она.

Мы с сестрой растерянно переглянулись. С Катей нам было совершенно неинтересно, и к тому же вполне хватало общества друг друга. Но разве мы, благовоспитанные девочки, могли ответить «нет»?

— Странная какая-то, — обсуждали мы Катю перед сном, лежа в кроватях.

— И вообще, зачем она нам нужна? — вредничала сестра. Она с детства уже была прагматична.

— Пусть ходит, — милостиво разрешила я. — Жалко ее как-то.

И Катя стала приходить к нам с завидным постоянством. Просовывая крепкую маленькую ладонь в щель забора, она сама открывала калитку и, если мы были заняты, тихо сидела в саду на скамеечке и ждала нас. Однажды мы застали ее в нашем шалаше — она играла с куклами, не замечая нас.

— Положи на место, не твое! — крикнула сестра.

Катя вздрогнула и бросила куклу. В глазах у нее появились слезы. Мне стало жалко ее, и я протянула ей свою любимую Зосю.

— Хочешь, возьми, — предложила ей я.

— Насовсем? — тихо прошелестела Катя.

Я благородно кивнула. Сестра покрутила пальцем у виска. Катя быстро схватила куклу и бросилась к калитке, видимо, боясь, что я передумаю. К нам она не приходила три дня. На выходные приехали родители. Сестра рассказала им про куклу. Бабушка возмущалась, а мама отмахнулась: мол, оставьте ее в покое. За

что ее ругать? За благородный человеческий порыв?

Отец, правда, тоже был согласен с бабушкой и объяснял мне, что все наши вещи куплены на родительские деньги и уж, по крайней мере, советоваться мы со взрослыми должны. Зачем они сыпали соль на мою рану? Я и так не спала по ночам, вспоминая мою прекрасную белокурую Зосю.

Господи, сколько потом я всего теряла в своей жизни! Но, пожалуй, ничего мне так не было жаль, как ту глупую немецкую резиновую куклу.

Катя ходила к нам все лето. Она рассказывала страшные истории про своих «непутевых» родителей, завербовавшихся на Север за «длинным рублем», любящих выпить и повеселиться. Про дядьку-алкаша, гонявшего свою бедную семью с топором по двору, про соседку Нинку, которая «дает» за стакан.

— Что дает? — спросили мы.

— То самое, — коротко ответила Катя.

Про «то самое» мы спросить уже не решились, видимо, постеснявшись своей безграмотности.

Все это было для нас и непонятно, и ново и вызывало какой-то (мы чувствовали) нехороший интерес. Катю, успевшую нам уже изряд-

но поднадоесть, мы все же принимали и просили рассказать еще что-нибудь. Из области неизвестного. В конце лета мама собрала какие-то наши вещи — платья, кофточки, гольфы. Сложила все это в сумку и отдала Кате. Катя вытащила по очереди вещи из сумки, придирчиво и внимательно осмотрела их, потом все сложила обратно и, гордо кивнув, важно удалилась. Сумка сильно оттягивала ей руку. «Спасибо» она, по-моему, так и не сказала.

— Обстоятельная какая! — смеялась мама. — А вообще-то бедная девочка. Ну в чем она виновата? Кто ее воспитывал?

Тогда я поняла: основная мамина черта — великодушие. Жизнь это впоследствии подтвердила не раз.

Отец тогда, правда, заметил, что подружки у нас могли бы быть и поинтереснее.

Весь год о Кате мы не вспоминали — нам было не до того, а когда снова пришло лето, наша старая знакомая опять возникла. В куклы играть нам было уже неинтересно, да и у нас появилась новая дачная компания. Мальчик Вова, который играл на кларнете, и девочка Нелли, дочь известных художников. Нас уже выпускали за калитку. И на станцию за мороженым мы бегали одни, и в гости к новым друзьям уже тоже ходили без бабушки. А Катя,

Катя оставалась при нас, нашим неотъемлемым придатком, нашим бессловесным пажом, нашей тихой тенью, сопровождавшей нас повсюду. Вроде бы она не особенно мешала, но сильно раздражала — это точно. И своим убогим видом, и вечным усердным молчанием, и, как мы теперь стали понимать, непроходимо глупыми и неприглядными историями. Но она от нас не отлипала, видимо, искренне считая нас своими близкими подругами. Прогнать ее мы уже не могли.

К себе она нас никогда не приглашала, но все же однажды мы заявили к ней сами, без приглашения. Любопытство взяло верх. Мы увидели старый, убогий дом-развалюху, и неопрятный двор, и маленькую неряшливую старуху — ту самую «бабку», и молодую полную женщину в помятом платье, спавшую под яблоней с открытым ртом.

— Мамка загостилась, — смущенно объяснила Катя. И тихонько стала нас выпроваживать.

Постепенно дачу мы полюбили и даже стали бояться, что хозяйка Елена Сергеевна может нам в ней отказать. Но этого, слава Богу, не происходило, и в конце мая мы заезжали опять. Теперь у нас образовалась большая теплая и душевная компания — поездки на велосипедах на озеро, игра в кинга, гитары, песни и,

конечно, романы. Мы с сестрой здорово вытянулись и превратились в самых высоких девочек в классе, даже стеснялись своего роста. Это сейчас он был бы предметом гордости и больших карьерных перспектив, а тогда...

А вот Катя оставалась такой же маленькой, приземистой, только стала как-то еще шире в плечах и полнее в ногах. Теперь мы говорили только о мальчиках, придумывали небылицы и отчаянно выпендривались друг перед другом. Катю это, кажется, совсем не интересовало.

В девятом классе мы отказались от дачи — бабушке это стало не под силу, и нас отправили в лагерь на море. Там все закрутилось с удвоенной силой — свидания, поцелуи, расставания, дружба «навсегда». Но в последнее школьное лето дачу пришлось снять снова — теперь уже больше из-за бабушки, которая после болезни была очень слаба, и уже мы стали ухаживать за ней. А сами мы в даче не нуждались, воспринимая ее теперь почти как наказание — в Москве было, разумеется, гораздо интереснее.

Тогда, в то последнее школьное лето, Катя возникла вновь — коротенькая, почти квадратная, без какого-либо намека на талию. Волосы она теперь коротко стригла, но, тонкие и пря-

мые, они не слушались ни расчески, ни щипцов, и сестра, всегда острая на язык, смеялась над Катей, говоря, что похожа она на соломенного Страшила из «Волшебника Изумрудного города». И в этом была своя правда.

И тут от Кати появился вполне реальный толк — когда нам надо было сбежать в Москву на свидание, Катя оставалась приглядывать за бабушкой. Грела ей обед, выводила посидеть в сад в старом плетеном кресле. Бабушку Катина забота тяготила, но она терпела, понимая, что стала обузой для нас, молодых девиц. И, вздыхая, отпускала нас, покрывая тайные побеги перед родителями. В награду мы привозили Кате туземные пластмассовые заколки из привокзального киоска, перламутровую помаду, купленную у цыганок в переходе, или колготки с ажурным рисунком. Катя все внимательно рассматривала, с достоинством перебирала и уносила с собой. Так задешево мы покупали свободу и убаюкивали беспокойную совесть.

Осенью, съезжая с дачи, мы опять оставили Кате ненужные вещи — старые джинсы, куртки, остатки косметики — и прочно забыли о ней еще на один год.

Потом мы поступили в институт: я — в текстильный на тогда еще не очень модный фа-

культет моделирования женской верхней одежды, а сестра — в экономический. Началась развеселая пора — студенческая жизнь. Дома мы старались бывать как можно реже — там теперь было совсем грустно и уныло. Тяжело ходила бабушка, уже почти совсем ослепшая. Мама разрывалась между работой и домом, а мы, молодые и здоровые эгоистки, были увлечены своими страстями и такими важными, как нам казалось, делами.

И тут на нашем горизонте снова возникла Катя. На сей раз с чемоданом в руках. Она пила на кухне чай и обстоятельно и деловито рассказывала маме о планах на жизнь — бабка ее померла, непутевая мать опять моталась по свету, а Катя решила устраивать свою жизнь. Наша мама советовала ей получить хорошую специальность повара или парикмахера. Катя кивала и подробно выспрашивала, какая из профессий более доходная. Остановились на кулинарном училище.

— При продуктах все же, — вздохнув, сказала Катя.

Она подала документы, устроилась в общежитие. Заходила она к нам теперь совсем редко, раз-два в месяц. Мы с сестрой бросали ей «привет» и дежурное «как дела?» и убегали в свою распрекрасную жизнь. Она же общалась

с нашей мамой, долго пила на кухне чай вприкуску, шумно прихлебывая, и подробно рассказывала о своем житье. Жилось в общежитии ей совсем несладко — драки, скандалы, вечные пьянки. Уж чего только она не навиделась за свою молодую жизнь, но даже она не могла к этому привыкнуть.

А потом окончательно слегла совсем ослепшая бабушка. Мать рвалась между домом и работой, отец старался приходить как можно позже. А мы, молодые нахалки, помогали урывками и кое-как. Как-то получилось, что мама отдала Кате связку запасных ключей и она забегала днем покормить или переодеть бабушку. Заодно что-то подстирывала, прибирала и даже пыталась приготовить ужин. Мать, конечно, подбрасывала ей денег. Но Катя сначала отказывалась, объясняя свою помощь своим же интересом:

— Я у вас тут душой отдыхаю, днем посплю часок в тишине, чайку попью.

Но деньги потом стала брать, да и подарки тоже — что, впрочем, вполне естественно. Теперь Катя отстаивала шестичасовые очереди в универмаге «Москва» за финским стеганым пальто, австрийскими сапогами на каблуке, югославским костюмом из ангорки... Правда, это помогало мало — несмотря на модные

тряпки, Катя оставалась все-таки приезжей. Воистину: девушка может уехать из деревни, а вот деревня из девушки... К тому же в свои двадцать с небольшим она была уже вполне тетка — на вид Кате можно было дать и тридцать, и сорок.

Само собой получилось, что она чаще и чаще оставалась у нас ночевать. Спала в бабушкиной комнате — и это было всем очень удобно. Вставала позже нас, когда мы, уже выпив кофе, прихорашивались в прихожей, готовые к бурному дню. Старалась не попадаться на глаза, не путаться под ногами. И со временем абсолютно подладилась под нашу жизнь.

Первой замуж выскочила сестра — все как положено, по праву старшей. Муж ее был студентом консерватории из очень интеллигентной, зажиточной и известной азербайджанской семьи. Его родители — а власть их была очень сильна — настояли на переезде молодых в Баку. Сестра долго сопротивлялась, но все же перевелась в бакинский вуз и подхватила за мужем. Был он записной восточный красавец — высокий, черноглазый, с маленькими жесткими усиками и прекрасными тонкими руками музыканта. Семья мужа приняла сестру настороженно, все очень переживали, что старший (и главный!) сын женился на

иноверке. Но в запасе были еще два сына и дочь — в общем, смирились. Свадьбу гуляли три дня, как положено, шумную и роскошную, со всеми атрибутами Кавказа. На свадьбу мы с отцом приехали вдвоем — мать осталась с бабушкой, у Кати были какие-то экзамены. Из Баку мы уезжали с неподъемными баулами — вино, фрукты, цветы. Все, чем одарила нас щедрая восточная родня.

Дома без сестры было невыносимо грустно и одиноко. Зато была Катя. Она потихоньку перевезла из общежития свой нехитрый скарб и стала жить у нас постоянно. В родном доме я тоже долго не задержалась — через полтора года вслед за сестрой ушла «в замуж», как говорила Катя. Впрочем, не совсем так: любимый мой был женат и имел двоих детей, но с женой не жил, оставив ей свою квартиру, а жил в полуподвале мастерской на Кировской. Он был скульптор. В эту мастерскую перебралась и я. Быт наш был скуден и убог: маленькая, плохо отапливаемая мастерская без горячей воды, я студентка, да и его заработки были невелики и к тому же от случая к случаю. Мы бедствовали, но, как водится, в молодости это не воспринимается трагически. К тому же мы были страстно влюблены друг в друга и потому совершенно счастливы.

Умерла бабушка, и на похороны приехала моя глубоко беременная сестра. Ночами мы вели с ней бесконечные разговоры, и она призналась, что стала покорной мусульманской женой — обеды, уборки, бесконечные родственники, преимущественно мужского пола, где она постоянно подает, убирает и опять подает. Она тихо, чтобы не узнали родители, плакала и говорила о том, как ей ох как несладко. Хотя в бытовом плане проблем не было никаких: прекрасная квартира, машина, деньги. Говорила, что очень любит мужа, но все-таки попала в чужой мир, где многое ей непонятно и чуждо, но менять свою жизнь она не может и, скорее всего, не хочет.

А я рассказывала ей о своей любви, о дырявых сапогах, штопанных колготках, пустой жареной картошке на ужин, о том, что мой любимый и не думает разводиться и что я не нашла общего языка с его детьми. И еще о том, что свою жизнь я не променяю ни на какую другую. Мы долго молча сидели обнявшись и обе горько плакали. Мы поняли, что наша юность и беззаботность безвозвратно ушли и мы стали совсем взрослыми женщинами, каждая со своей непростой судьбой.

На похоронах и поминках вовсю хозяйничала Катя, тихо и четко давая всем распоряже-

ния — работягам на кладбище, соседкам, накрывавшим поминальный стол и пекшим традиционные блины — в общем, было ясно, что она здесь хозяйка. Теперь Катя жила в нашей бывшей с сестрой комнате, и было странно видеть там ее вещи — кружевные, вязанные крючком салфетки, горшки с фиалками, кулинарные книги, портреты артистов на стене. Словом, ее порядок и ее представление об уюте.

— Зажилась она тут у вас, мам, — жестко сказала сестра.

— Что ты! — испуганно всполошилась мать. — Я без нее бы пропала! Все хозяйство на ней — и стирка, и уборка, и магазины. Столько лет она бабушку тянула! А пироги какие печет — отец оторваться не может. Я только Бога молю, чтобы она от нас не ушла, замуж не выскочила. Эгоизм, конечно, но мы без нее пропадем.

— Да не придумывай! — усмехнулась сестра. — Жили как-то и без нее, не пропали. А теперь ее вообще отсюда не выпрешь, прижилась накрепко, — зло добавила она.

В те дни Катя нам постелила в бабушкиной комнате, четко обозначив свое место в нашей семье. Сестра возмутилась, а я миролюбиво сказала:

— Ладно тебе, родители не молодеют, ты далеко, я в своих проблемах... Черт с ней, пусть живет, и матери полегче, да и положи руку на сердце весь воз проблем она тащит на себе. Из нас с тобой помощницы никакие. И мне тоже так спокойнее.

— Нет, — отвечала сестра. — Мне это не нравится, она уже здесь хозяйка, неужели ты это не чувствуешь?

А вскоре тяжело заболела мама. Диагноз оказался страшным и необратимым — рассеянный склероз. Редкое заболевание у женщин после пятидесяти. У нее начали дрожать руки и ноги, она стала слепнуть, а потом и вовсе перестала вставать — развился частичный паралич. Я прибежала после работы, но все уже было сделано — постель чистая, мать подмыта и накормлена, а на плите отца ждал горячий ужин. Катя, как всегда, была сурово-сдержанна, скупа на слова и деловита. Мне она только протягивала заключения врачей и рецепты. Научилась делать уколы. За мать я была спокойна — лучшего ухода и представить невозможно, а к горю и к болезни все постепенно привыкли. Конечно, где-то глубоко внутри точила совесть — при двух здоровых дочерях за матерью ухаживает посторонний человек. Впрочем, посторонней Катя уже не была.

Тяжелая болезнь матери иногда давала передышку. Отец много работал и по понятным причинам старался бывать дома реже. Но ко всему человек привыкает, и постепенно ужас и паника отступили; все привыкли к тому, что мать тяжело больна, и смирились с этим, радуясь временным и коротким улучшениям. Жизнь вошла в свой ритм и потекла уже по другому распорядку.

Прошло четыре года. Однажды вечером я, как обычно, забежала после работы к матери. Она, почему-то шепотом, попросила меня поменять ей постель и вынести судно.

— Катюше это уже тяжело, — объяснила мать.

— Что тяжело? — удивилась я. А когда я увидела Катю, то быстро все поняла.

Живот у нее был, если приглядеться, вполне заметный — месяца на четыре. Мы пили чай на кухне, и я увидела, что лицо ее расцвело коричневым пигментом, припухли губы и нос — словом, все признаки налицо. Я закурила и, помолчав, спросила:

— Замуж собралась?

— Нет, — ответила она. Короче не скажешь.

— Что «нет»? — разозлилась я. — Нагуляла?

И где ты с ним, — я кивнула на Катин живот, — жить собираешься? Здесь гнездо совьешь?

Катя молчала.

— Что молчишь? — крикнула я. — Сама пристроилась и с ним, думаешь, не пропадешь. Люди мы добрые, на улицу не выкинем. Да и куда мы без тебя, пропадем ведь, погибнем, не справимся, — зло иронизировала я.

А Катя молчала.

— Не выйдет у тебя ничего. Может, ты еще прописаться здесь задумала? Не слишком ли много на себя берешь?

— А ты не слишком мало? — наконец ответила мне она.

Но остановить меня уже было сложно.

— Ты что думаешь, мы сиделку матери не в состоянии нанять? Думаешь, без тебя наша жизнь закончится? Ничего, не помер, не переживай! — кипела я.

Видеть ее почему-то было невыносимо.

Я зашла к матери:

— Мам, ну что происходит? Ну чему ты потекаешь? Сегодня она родит, а завтра папашу ребенка приведет, алкаша заводского, ты его тожепустишь? Она тут временно поселилась, временно, понимаешь? На черта нам все это надо? Ну, будет полегче с деньгами, найдем медсестру, ты же сама говоришь, что у нее рука тяжелая. — Я бессильно опустила в кресло.

— Остынь, — тихо сказала мать. — Все оста-

нется как есть. Пока я жива, я здесь хозяйка. У вас своя жизнь, а у нас тут — своя. И решать это мне.

Я схватила куртку и выскочила на улицу. Во дворе я села на скамейку и попыталась взять себя в руки. Почему-то меня душила злость. Звонить сестре? Что ее тревожить? У нее своя жизнь, двое детей, другой город. Просить ее приехать? Глупо. Надо поговорить с отцом, осенило меня. Я позвонила ему — он, как всегда, был на работе допоздна — и сказала, что сейчас подъеду к нему. Он не удивился и не спросил, в чем дело. Я зашла к нему в кабинет и увидела, что он еще вполне хорош собой, седовлас и строен. И совсем не стар. Господи, подумала я, а ведь ему совсем несладко и совсем непросто.

Возмущаясь и сбиваясь, я твердила, что Катю надо выгонять сейчас, пока она не родила, потом будет сложнее. Нельзя допустить, чтобы из роддома она вернулась к нам, что потом мы не избавимся от нее вовек. И еще я говорила о том, что она внедрилась буром в нашу семью и стала, по сути, в ней хозяйкой и что виноваты во всем мы с сестрой, да-да, я это признаю, так всем нам было проще и удобнее, но пора остановиться, гнать ее, эту змею, кото-

рая вползла в наш дом, гнать именно сейчас, потому что потом будет поздно...

Отец ничего не отвечал, только молча курил, стоя у окна спиной ко мне.

— Что молчишь? — выкрикнула я. — Или тебе так тоже удобно и тебя это совсем не касается?

— Касается, — коротко ответил он. Потом, помолчав, добавил: — Мать права, пусть все останется как есть. Ничего изменить нельзя. Мать без нее уже не может.

— А ребенок? — тихо спросила я.

Отец мне не ответил.

Я выскочила из кабинета и пошла прочь. В конце концов, это их жизнь, успокаивала я себя. И их решение. Я не приходила туда два месяца. А что творилось у меня внутри! И злость, и вина, и обида, и все душевные муки, которые только могут быть в беспокойной человеческой душе. Теперь я звонила отцу, узнавала, как мать, и когда наконец решила прийти к ним, попросила отца, чтобы Кати не было дома.

— Она почти не выходит, — объяснил мне отец. — Состояние у нее не из лучших. Так что, если хочешь, приходи, а условий мне не ставь.

Я, конечно, пришла. Мать плакала и глади-

ла мне руки. В коридоре я столкнулась с Катей. Ну почему мне так невыносимо было видеть ее — тяжелую, опухшую, с большим, низким животом? Она опустила глаза и молча прошла мимо меня. Я сидела в комнате у матери, и мы молчали. Потом мать тихо сказала, вернее, попросила:

— Смирись, не мучь себя. Уже ничего не изменишь.

Я кивнула.

Спустя три месяца Катя родила здорового и крупного мальчика. Когда я приходила туда, ребенок мирно спал на балконе. А Катя опять крутилась между ним, матерью и кухней. В ванной висели голубые фланелевые пеленки, а на кухне стояли бутылочки со сцеженным молоком.

— Поди посмотри на мальчика, — тихо сказала мать.

— Мне это неинтересно, — отвечала я.

Болезнь матери уже не оставляла никаких надежд — она все больше дремала, совсем перестала читать и лишь изредка смотрела телевизор. На тумбочке у ее кровати, на дурацкой кружевной салфетке, связанной Катей, всегда лежало на блюде очищенное и разрезанное на дольки яблоко и стоял стакан компота.

В квартире был абсолютный порядок, мать

лежала на белоснежном, накрахмаленном белье, и на плите всегда стоял обед из трех блюд. Конечно, я все это замечала и была способна оценить, но сделать шаг и начать общаться с Катей почему-то не могла. Или, положив руку на сердце, не хотела. А мать рассказывала мне, что мальчик чудный и крепенький — тьфу-тьфу. И такая радость, когда Катя приносит его ей в комнату! Ты не переживай, это меня ничуть не беспокоит, наоборот, одни сплошные положительные эмоции.

— А что моя жизнь? — говорила мать. — Лежу, как болван деревянный, столько лет. Ни туда, ни сюда. Не живу и не умираю. Только всех мучаю. И освободить от себя не могу, — плакала бедная мать.

Младенца я увидела спустя полгода — забежав днем к матери. Он сидел в подушках на ее кровати, и она разучивала с ним нехитрые «ладушки». Мать смутилась, увидев меня, а Катя, быстро подхватив ребенка, выскочила из комнаты. Все, что я успела увидеть, — это то, что ребенок и вправду был хорош: гладкий, упитанный, розовощекий, с нежным светлым пухом на голове. Сердце мое сжалось — я была по-прежнему бездетна. Видя мое смятение, мать осторожно завела разговор:

— Чудный мальчик, правда?

— Не знаю, я в них не разбираюсь, — сухо ответила я.

Я покормила мать обедом и засобиралась домой. Вновь видеть ни Катю, ни ребенка мне не хотелось.

Медленно, бульварами, я пошла к своему так называемому дому. На душе было пусто. Период романтики и страсти мы, увы, уже проскочили, и остались лишь убогий быт, неустроенность и вечная нехватка денег. Всю зиму я ходила в осеннем пальто, подшив под него шерстяные платки, и в старых, латаных сапогах. Как следствие — вечно простуженная и раздраженная. Появились обиды и упреки и, конечно, взаимное недовольство друг другом. Я была вполне взрослая женщина, и мне хотелось стабильности, казавшейся мне синонимом счастья, — квартиры, семьи, ребенка, наконец. Наверное, в других обстоятельствах я бы вернулась к родителям, но возвращаться, по сути, мне было некуда. В общем, мне казалось, что я немолодая, тощая и загнанная лошадь, которая, обреченно и понуро опустив голову, бредет, спотыкаясь, по брэнной земле.

А через два года умерла мать — урологический сепсис. Врач, констатировавший смерть, сказал, что причина банальна. И добавил, что мать, слава Богу, отмучилась — сколько лет та

кой страшной жизни. На похороны прилетела сестра, ставшая совсем похожей на восточную женщину — крашенные в медный цвет волосы, черные одежды, крупные бриллианты на пальцах и в ушах.

Прилетела она с младшей дочкой, и девочка быстро нашла общий язык с Катиным сыном — они что-то строили из кубиков на ковре. На кухне опять хлопотала Катя. Сестра внимательно посмотрела на нее и спросила:

— Кого ждешь?

— Мальчика, — одними губами ответила Катя. И быстро вышла из кухни.

На похоронах отец не плакал. Да и кто его вправе судить? Слишком долго и тяжело мать уходила. Человек ко всему привыкает. Все были к этому готовы. Жизнь есть жизнь. Только после поминок, когда мы с сестрой, обнявшись, сидели на мамином диване, он коротко бросил нам: «Помогите Кате». Я стала убирать со стола, а сестра пошла укладывать спать дочку. На кухне Катя мыла посуду.

— Ловко у тебя все получается, — усмехнулась я. — Теперь власть переменилась. Я-то тебя быстро выставлю, не сомневайся. Я не такая добренькая, какой была мать.

Катя развернулась ко мне и, глядя мне в глаза, твердо произнесла:

— Не выставишь, не надейся.

— Ну, это мы еще посмотрим, — пообещала я.

Катя вздохнула, вытерла о передник руки и достала из кармана конверт.

— Читай, — коротко бросила она.

Я открыла конверт и увидела листок из школьной тетрадки в линейку, исписанный крупным и кривым, словно детским, почерком. Я начала читать:

Девочки мои! Не решалась сказать вам раньше — так мне легче.

Примите Катю и ее детей. Это — ваши братья. Не осуждайте отца — так сложилась жизнь. Катя ни в чем не виновата. И никто ни в чем не виноват. С квартирой, думаю, разберетесь по-людски. Там же ваша доля тоже. Катя продлила мне жизнь. Хотя она была мне уже не очень-то и нужна. Но есть как есть. Решите все миром. Писать тяжело. Постарайтесь быть счастливыми. Очень вас прошу.

Мама.

Я долго держала в руках этот тетрадный листок, пытаюсь понять. Сколько я просидела на кухне на табуретке и как вышла в холодную московскую осень, не помню. Отцу я не звони-

ла долго, видеть ни его, ни Катю не хотелось. Да что там не хотелось — видеть я их просто не могла.

Потом изменилась и моя жизнь. Я познакомилась с человеком, от которого веяло спокойствием и надежностью. Был он математик и бельгиец по происхождению. Человек от точной науки, четко объяснивший мне всю перспективу нашей с ним дальнейшей жизни без богемного налета и неопределенности, от которых я очень устала, — где мне все было предельно понятно. Я вышла за него замуж, и мы засобирались на его родину.

Отцу я позвонила перед отъездом, за час до выезда в аэропорт, таким образом заранее отрезав себе пути к встрече. Говорили мы сдержанно и смущенно. Я спросила его о здоровье и доложила минимальную информацию о себе. В трубке я слышала детские голоса.

— Напиши хоть когда-нибудь, — дрогнувшим голосом сказал он напоследок.

В Москве я не была несколько лет, жизнь моя сложилась так, как я уже и не ждала, — жили мы дружно и тихо, наслаждаясь покоем и друг другом. Детей я так и не родила. С сестрой мы часто и подолгу общались по телефону — для меня это, слава Богу, было доступно.

И однажды решили приехать в Москву — повидаться и навестить могилу матери.

Мы заказали один отель и поселились в соседних номерах. Наутро поехали на кладбище. Мы стояли возле ухоженной могилы и молчали. Думаю, мы обе просили у мамы прощения. Ведь если бы все сложилось по-другому, ей бы не пришлось пережить всего, что она пережила. Если бы мы, ее дочери, были все годы рядом с ней. Мы, а не чужой человек, хотя, что греха таить, это нам было очень удобно. Это потом мы стали искать виноватых. С кладбища мы шли молча, а когда сели в такси, я назвала водителю адрес старой родительской квартиры.

Дверь нам открыла Катя — точно такая же, как много лет назад, только слегка располневшая. Несколько минут мы смотрели друг на друга, потом я сказала:

— Чаем напоишь? Мы жутко промерзли — совсем отвыкли от московских зим.

Катя словно очнулась и мелко закивала. Мы разделись и зашли в дом. Из комнаты вышел постаревший отец и беззвучно заплакал, прислонившись к дверному косяку. Мы обнялись втроем. Катя накрыла стол в комнате, и за него сели двое симпатичных мальчишек. Я подошла к ним и по очереди обняла их. Ис-

пуганные, они сидели тихо-тихо. Отец курил и молча наблюдал за нами. А потом вздохнул и сказал:

— Ну, слава Богу, вся семья в сборе. Садимся обедать!

Лучше не скажешь — вся семья в сборе. Ничего не попишешь — такая теперь вот у нас была семья. И слава Богу, что у нас хватило ума с этим смириться. Принять этот непростой пазл, который сложила жизнь и выкинула нам. Так, как было необходимо и мне, и сестре, — сейчас мы это понимали наверняка. И нашему отцу. Найти в себе силы начать со всем этим жить. Жить, чтобы жить, — и постараться быть счастливыми. Как просила нас мама.




Божий подарок

Об этом Божьем подарке никто уже и не мечтал — ни сорокалетняя некрасивая Фира, измученная болезнями и двадцатилетними хождениями по врачам, ни сорокапятiletний Натан, неутомимый трудяга, давно смирившийся с болезнями любимой жены и своим несостоявшимся отцовством. Хотя кому-кому, если не им, должен был послать Бог дитя, да не одно, а как минимум троих. Им — трепетной и мягкосердечной Фире и Натану, крепко стоявшему на своих кривоватых ногах на этой грешной земле. Благополучие и достаток в семье он обеспечивал, а как же иначе? Натан был скорняк — своими короткими и толстова-тыми исколотыми пальцами он шил легкие и пушистые шапки, да не просто убогие треухи, он был художником в своем деле. Например, легкую шапочку из белой норки он непременно украшал элегантным цветком из норки чер-

ной, а царственную соболиную — легким пером из крашеной лисицы. Это были не шапки, а шляпы и шляпки. Понятное дело, заказчиков была уйма. Трудился Натан от зари до позднего вечера, перетруждая свои подслеповатые глаза, и так подпорченные постоянным чтением Торы.

Фира многого не просила, но тогда была еще большая семья: Фирин брат-инвалид, одинокая сестра Натана в Тирасполе, старая тетушка в Риге. Натан держал в своих трудовых руках всю эту семью.

О том, что она беременна, Фира узнала в октябре, после очередного грязевого курорта, последнего, как она решила, в ее жизни. Тошнило сильно почти все девять месяцев, живот был огромный, Фира страшно отекала, и лицо ее покрылось темно-коричневыми пятнами. И распух, без того не маленький, фамильный Фирин нос. Роды принимали лучшие профессора лучшего в те годы роддома. На ошибку права они не имели. Родилась девочка — крупная, толстенькая, с черным пухом на голове. Куколка. Натан таскал ее на руках ночи напролет — не дай Бог, пискнет! Измученная Фира лежала на высоких подушках, сцеживая молоко из изможденной груди, и счастливо и слабо

улыбалась. Господь услышал! Не зря, не зря они молились и вели праведный образ жизни! Господь их услышал. Аминь!

Девочку назвали Розочкой. Она и вправду была похожа на бутон — розовощекая, синеглазая, с россыпью нежных детских кудрей. Натан сходил с ума, покупая у спекулянтов кружевные платица, мутоновые шубки, свежие фрукты и черную икру. Розочке ни в чем не было отказа. «Мамелэ моя, кецелэ, цветочек мой», — шептал Натан.

— Ты губишь ребенка, — предупреждала его мудрая Фира.

Как в воду глядела. Странные повадки образовались у Розочки рано, года в три: истерики с валянием на полу, бесконечные «хочу» и «не буду». Решили отдать в детский сад. Отрывали с кровью, но Розочка пришла в сад спокойно, деловито оглядела поле брани и к действиям приступила немедленно.

Гадила она по-всякому: и изощренно, и так, походя. Например, не забывала плюнуть в суп соседке по столику, изуродовать красками нищие детсадовские обои и свалить это на других, бросить в чайник с какао парочку свежепойманных тараканов. Словом, старалась на славу — не скучала. Родители возмущались, вос-

питательницы отказывались брать Розочку в свои группы, Фира рыдала, Натан скрипел зубами и исправно молился.

Из сада «ангелочка» пришлось забрать. Когда Розочке было лет семь, в большой коммуналке на Кировской стали пропадать деньги из случайно забытых сумочек. Сумочки стали лихорадочно прятать. Потом стала исчезать мелочь из карманов пальто и плащей.

— Боже, чего не хватает этому ребенку? — восклицала Фира и воздымала руки к небу. Натан все отрицал: не пойман — не вор. Вскоре девочку поймали с поличным: пропало старинное Фирино кольцо, бриллиант в черных эмалевых лапках — единственная память о матери, — а затем оно обнаружилось в кружевном розовом гольфике, спрятанном под подушкой.

Фира сидела, оцепенев, пару часов на диване, потом пошла к подруге-соседке, Павле Лаврентьевне. Рассказала всю правду о своей беде. Павла откликнулась:

— Бесы в ней, Фира, окрестить ее бы надо.

— Ты с ума сошла! Натан умрет, если узнает. А без его воли я на это не пойду.

— Ну, жди, может, перерастет, — слегка обнадежила добрая Павла.

Фи́ра пыталась с Розочкой разговаривать, но здесь ее надолго не хватало:

— Как же так, Розочка, ну что тебе еще нужно? У тебя же все есть, детка!

Розочка молчала как партизан и догрызала остатки ногтей.

К пятнадцати годам она окончательно превратилась в писаную красавицу, но кто над этим умилялся? В девятый класс ее не взяли, пришлось идти в ПТУ на парикмахера. Розочка плевалась:

— Тьфу, в чужих вшах ковыряться!

ПТУ не окончила, связалась с дурной компанией — дворовые посиделки до утра под блатные песни, семечки, водка, мат... В шестнадцать сделала первый аборт, подпольный, но все прошло без сучка без задоринки. Через два часа после адской процедуры уже сидела во дворе и пила пиво. Несчастные родители об этом ничего, слава Богу, не знали. Натан страдал и болел. И то и другое он не умел делать вполсилы, впрочем, как и все остальное.

Умер Натан скоропостижно, от инфаркта, когда собственными руками взял у почтальона повестку в суд, где Розочка, правда, вначале проходила как свидетель. Но потом ее поделники ее же и заложили — какое-то дело об ог-

раблении продуктовой палатки на платформе Сетунь.

Фира суд и приговор — три года лагерей — выдержала. А потом слегла. После смерти Натана жить стало почти не на что, но все же умудрялась отправлять дочери скудные посылки, а вот ехать к Розочке уже не было сил.

Роза вернулась худая, высохшая, с поредевшими когда-то роскошными кудрями. Много курила, с матерью почти не общалась. На могилу к отцу не пошла:

— Не верю я во все это.

Устроилась на почту уборщицей, но убиралась грязно, и вытурили ее оттуда быстро. Куда устроиться? В анамнезе — тюрьма, все про нее всё знают. К кому обратиться? Старый приятель Натана, портной, взялся учить ее закройке. Но кроила Роза плохо, неряшливо, ткань не экономила. Опять ничего не вышло. Наконец устроили добрые люди в артель по пошиву тапочек. Там она, правда, задержалась, и у нее даже стало что-то получаться, когда нехитрый мех попал в руки, — гены Натана. Приходила домой измученная, выпивала чаю с хлебом и ложилась спать. Ночью вставала и много курила.

А тут случилась у Розочки роковая любовь с директором той самой тапочной артели. Это

был цеховик средней руки, женатый, еще не старый. От любви Роза расцвела, засинели глаза, появился румянец. Теперь она много ела — Фирины бульоны с клецками и запеканки, раздалась в бедрах, опять стала смеяться и покупать себе яркие шелковые платья. Любовник повез ее в Сочи, и там случились и самые горячие дни, и бессонные ночи. Розочка опять превратилась в красавицу. Фира плакала и молилась и часами рассказывала на могиле Натана о том, как все славно, и Розочкина работа, и про ее друга, хорошего человека (о том, что хороший человек был глубоко женат, Фира Натану не поведала), и про Черное море, и про яркие Розочкины платья и лаковые туфельки, и про хороший Розочкин аппетит.

— Успокойся, Натан, все у нас слава Богу! — кривила душой бедная Фира. Но счастье и ее призрачный покой были недолги. Жена Розочкиного артельщика их вычислила и, неразумная, написала на мужа донос — обо всех его делишках и, конечно, левых приработках. Не забыла и про Розочку, сделав ее соучастницей. Сел сам фигурант, и туда же попала Розочка — припомнили ей первую судимость.

Фира снова выжила и опять писала дочери письма. Натану про это она ничего не расска-

зала, просто молча прибирала могилу. Вернулась Розочка через четыре года, без зубов, разбитая, больная. Павла отпаивала ее зверобоем и прочими травами. А Роза опять пила крепкий чай и тянула папиросы. Есть почти не могла — желудок болел так, что часами валялась скрюченная на диване. Фира, уже почти слепая, протирала ей овощные супы и распаривала под подушкой каши.

Вот тогда-то и отвела соседка Павла Розочку в церковь.

— Креститься надо, дочка, не смотри на то, что ты другой веры, окрестись!

— Да какой я веры, тетя Паша? У евреев таких детей не бывает, так что нет у меня ни нации, ни веры.

Крестила Павла Розочку в маленькой сельской церкви, где когда-то жила родня доброй Павлы и даже остался полусгнивший дом Павловой тетки. Розочке так понравилась деревня с названием Грибановка, и старый наследный Павлин дом, и заброшенный яблоневый сад, и маленькая, в один купол, церквушка, и отец Сергей — бездетный вдовец, человек мягкий и добросердечный! Тут впервые Розочку не ругали, не мучили и не причитали над ней. Ее просто жалели и ничего не хотели взамен. Розочка ездила в Грибановку два года и даже

пела в хоре — у нее вдруг обнаружился не сильный, но глубокий голос и прекрасный слух. А на третий год она вышла замуж за регента церковного хора — человека немолодого, тихого и доброго, и перешла в его светлую избу в чем была — с легкой парусиновой сумкой через плечо.

Почти в сорок (Фирины гены!) она родила дочку, а через два года — еще и мальчика. Фирю она, конечно, забрала к себе, но помощница из матери была уже никакая. И еще Розочка научилась варить супы и печь пироги. Хозяйка она была неважная, но в доме царила чистота.

— Устала я от грязи, — говорила она.

Матерью она была трепетной, но строгой, больше всего боялась забаловать детей, а вот женой стала покорной и молчаливой.

Как-то старая Фира, предчувствуя, видимо, свой скорый конец, попросила дочь свозить ее в Москву, на кладбище к Натану. Фира долго сидела на старой, почерневшей от времени скамейке и подробно рассказывала Натану про чудесную Розочкину жизнь, про внуков — Леночку и Толика, про заботливого Розочкиного мужа, про большой и светлый их дом, и даже про неудавшиеся Розочкины пироги — все с улыбкой на старом морщинистом лице,

по которому текли бесконечные слезы. Только вот о том, что Розочка уже не Розочка во все, а называют ее после крещения Раисой, и что муж у нее — церковный регент, старая Фира Натану не сказала. Испугалась, что ли? Ну вот почему-то ей казалось, что из-за этого он все-таки расстроится. Или, может быть, она ошибалась?



Добровольное изгнание из фая

Мать все умилялась: как же ты похож на отца. И это тоже раздражало. Прежде всего раздражало вечное материнское умиление — слишком много эмоций, слишком сладко, слишком высокопарно. Все — слишком, впрочем, как всегда. В матери всего всегда было в избытке. Павлику казалось, что родители совершенно не подходили друг другу, — какая сила их вообще столкнула и свела, пусть даже на недолгие совместные годы? Отец — вечный пример для подражания и скрытого детского восторга. Высок, смугл, худощав, с прекрасными черными волосами и карими глазами. Весь его облик наводил на мысль о каких-то дворянских корнях или наследственной военной выправке. Но на самом деле ничего подобного не было, корни были самые обычные, рабочие — и откуда такие стать и аристократизм? Мать была внешне простовата, хотя хоро-

шенькая, особенно смолоду. Белокурая, курносая, с распахнутыми голубыми наивными глазами. Роста она была небольшого, со смешными маленькими ладошками и совсем крохотными ступнями тридцать третьего размера. Но тоненькой была только в юности, а родив сына, прилично раздалась, особенно в бедрах. Однако миловидность, обычно к середине жизни исчезающая у женщин подобного типа, у нее все же осталась, совсем немного уступив место простоте. Была она болтлива и смешлива до крайности. Впрочем, так же легко, как засмеяться, могла она и горько зарыдать. Умиляло ее все: и снегирь на ветке за окном, и немецкий резиновый пупс в витрине, похожий на младенца, и лохматая дворовая собака, и рассказ в последнем «Новом мире», и хрустальный голос Ахмадулиной по радио, и заварной эклер в кафе, и легкий цветастый сарафан, и бабочка павлиний глаз на дачном крыльце. Перечислять это можно было бесконечно. А выносить весь этот бесконечный и постоянный накал эмоций? Ну ладно, это ее дело. Но отец — технарь, человек расчетов и холодного ума. Ему каково? Павлик вспоминал, как отец морщился и пытался остановить мать: «Шура, довольно!» Потом они долго вы-

ясняли в спальне отношения, всхлипывала, потом смеялась мать, шумно втягивал носом и кашлял отец, долго куря на кухне, — а потом Павлик засыпал.

Ушел отец, когда Павлику было восемь лет. Объясняться с сыном нужным не считал, а через полгода встретил у школы и предложил зайти в его новый дом. Дома была и новая жена отца — Инесса Николаевна, отцовская сослуживица, из одной лаборатории. Ее твердый голос и строгий вид определенно внушали уважение. Была Инесса Николаевна совсем некрасивая, правда, высокая и стройная — в общем, то, что называется статью. Носила унылую прическу и грубоватые круглые очки. Была строга, но беспристрастна.

Павлик ее сначала испугался, но скоро понял, что бояться нечего, что совсем она не вредная, а скорее равнодушная. Его она не очень-то и замечала, задавая дежурные вопросы про школу и отметки. В Инессиной квартире было мрачновато: никаких салфеточек, цветочков, картинок — всего того, чем украшала дом мать. Готовить Инесса не умела, подавала на ужин либо сосиски, либо пельмени. Причем варил их, как правило, отец, без возражений. Павлик обожал и то и другое, да